

Интеллигенция и эмиграция:

Стратегические перспективы, нереализованные возможности, личные риски

Сергей Юрьенен

* Сергей Сергеевич Юрьенен — прозаик; журналист; радиожурналист; переводчик; редактор; издатель. Родился 21 января 1948 г., Франкфурт-на-Одере, Германия. Раннее детство провел в Ленинграде. Жил и учился в Гродно (1955-57), Минске (1957-67), а по возвращению в Россию в Москве, на филологическом факультете МГУ (1966-1973). Литературная студия при Московской писательской организации (1973-75). Выездной корреспондент (Белоруссия, Таджикистан), редактор, заместитель начальника отдела очерка в журнале «Дружба народов» (1974-76). Поездка в Венгрию в составе Поезда Дружбы творческой молодежи Москвы (1975). Два месяца во Франции (1976). Участник VI Всесоюзного и общемосковских совещаний молодых писателей. Член Союза писателей СССР (1977). Первая книга прозы — «По пути к дому» (Москва, «Советский писатель», 1977). Выбрал «свободу творчества» во Франции, где получил политическое убежище (1977). Литературную деятельность продолжал в Париже (1977-84), Мюнхене (1984-95), Праге (1995-2004). Сотни публикаций в русской эмигрантской и западной периодике. Более четверти века работал на Radio Liberty/Radio Free Europe Inc. Корреспондент, обозреватель, аналитик социокультурных процессов, ответственный редактор культурной программы. В 1986 году основал ставшую «знаковой» (и до сих пор сотрясающую воздух) ежедневную программу «Поверх барьеров» с литературным приложением «Экслибрис». Создатель и ведущий ряда других успешных программ и циклов, почти два десятилетия отвечал за культурную стратегию Русской службы РС. С 2005 живет в США (Нью-Йорк-сити; Вашингтон, Округ Колумбия; Риджвуд, Нью-Джерси; Нью-Йорк). Заместитель главного редактора журнала «Новый Берег» (Дания). Основатель и ведущий издательства «Franc-Tireur USA». Автор более тридцати книг. Среди них романы «Вольный стрелок» (1980), «Нарушитель границы» (1982), «Сын империи» (1983), «Сделай мне больно» (1986), «Беглый раб» (1990), «Дочь генерального секретаря» (1991), «Союз Сердец» (2000), «Фашист протел» (2001), «Суоми» (2005), «Линтенька, или Воспарившие» (2007), «Dissidence mon amour», «Фён» и др. Переведен на ряд европейских языков. Пять литературных премий, включая имени Набокова (1992) и «Русскую Премию» (2009). Член Американского ПЕН-Центра.

Вместо пролога: Однажды мне приснился ужасный, страшный сон

Вот именно — как в жестоком романсе. И не однажды, а во время размышлений над темой. Меня снова собираются выгонять. Только на этот раз за другое. Не за то, что «реликт холодной войны», и в этом качестве соринка в оке государевом. Теперь будут увольнять за разращение аудитории в либерально-демократическом духе. Соответствующая речь ожидается от человека из Вашингтона. Разносятся слухи, что посланец нового курса потребует от сотрудников «суррогатного масс медиа», финансируемого Конгрессом США, воспитывать у российской аудитории чувство патриотизма, нравственные ценности и духовные скрепы. Мне 70, не 57, когда это произошло впервые, и я в отчаянии от перспективы снова возрождаться из пепла, в который меня завтра публично обратят, и начинать опять толкать свой камень в гору. Коллеги в частном порядке негодуют, но когда я спрашиваю, будут ли они молчать, как в прошлый раз, кажется, сам инстинкт самосохранения в отчаянии разводит передо мной руками: «Сам знаешь: против ветра...».

Возможно, главным удручением времен, которые не выбирают, было созерцание процесса исчезновения интеллигенции. Превращение в постинтеллигенцию — в наемных работников умственного труда. Так называемых «профессионалов».

Ищешь Францию, найдешь Америку

Среди особенностей интеллигенции как феномена исторического, а стало быть, и преходящего, обычно выделяют:

- 1) антибуржуазные установки (презрение к корысти и стяжательству, бесбревенничество, примат духовных ценностей)
- 2) оппозиционность власти имущим и
- 3) совесть, или особая подверженность «комплексам вины».

Нельзя сказать, что в целом Третья волна удержала эти установки — и я тут не говорю об эмиграции, которую ее креативные интеллигенты называли «колбасной». Дети Победы, дети Оттепели, мы в той или иной мере удерживали эти установки — уже и годы брежневского застоя воспринимались нами как «чудовищный цинизм». Фраза именно тех лет, о которых высказался и поэт: «Нам, как аппендицит, поудалили стыд». Этот диагноз, кстати, помнят многие в России: когда я уточнял цитату в Интернете, увидел после нее безответный вопрос анонимного «юзера» 2018 года: «...Что бы Вознесенский сказал сегодня?» Вот и я за Андрея Андреевича ответить не могу. Тогда как Федор Михайлович, наверно, повторил бы, снова попав в самую точку: «Тут дьявол с богом борется, а место битвы — сердца людей».

Я выбрал “свободу творчества” в Париже в 1977, в дни 60-летнего юбилея советской власти. Этот символизм меня не оставлял в покое. Будучи знаком со статьей 64-й УК РСФСР (Измена Родине... или отказ вернуться... от десяти до пятнадцати... или смертной казнью с конфискацией имущества...), я отдавал себе отчет в мере и необратимости совершенного злодеяния. Но ведь всегда есть варианты дальнейшей траектории. Через полгода, 16 июля 1978, председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР Юрий Владимирович Андропов направит в ЦК

КПСС секретное письмо под исходящим номером 1439-А «О поведении за рубежом писателя Юрьенена» : «С момента объявления о своем решении не возвращаться в СССР ЮРЬЕНЕН систематически выступает на страницах реакционной буржуазной и антисоветской эмигрантской прессы, в том числе в изданиях НТС, с резкими клеветническими заявлениями в отношении советского государственного и общественного строя» и т. п. Резолюция на этом письме определит многое в моей западной судьбе: «В разработку». Что значит этот термин? Контрразведовательный словарь КГБ 1972 года: «Форма оперативной деятельности, которая проводится в отношении отдельных лиц... подозреваемых в причастности или причастных к подготовке или совершению государственных преступлений, и целью которой является наиболее полное вскрытие преступной деятельности разрабатываемых и подготовка мер ее пресечения».

Сколько неприятностей можно было избежать, выбери я иную стратегию. Среди мимолетных знакомств того периода был советский зять одного из лидеров французской компартии. Человек рассудительный и мягкий, он без шума отъехал в Париж, погрузился в академическую среду и жил себе тихо-мирно. Впрочем, выпустил по-французски книжечку, где журил Солженицына, но даже это в моем случае было бы необязательно. Просто держать рот на замке, не усугубляя одно «особо опасное государственное преступление» другим, по статье 70-й «Антисоветская агитация и пропаганда... а равно изготовление в тех же целях литературы...» Но я чувствовал себя глубоководным монстром, вырвавшимся на поверхность. Меня разрывало изнутри. Но куда со всем этим идти?

Главным культурным шоком — и особенно в контексте французского либерализма эпохи Жискара д'Эстена — стал образ Зарубежья. В Союзе мне казалось, что оно едино в противостоянии советскому монолиту. Действительность повергла в отчаяние. Каждая «волна» исхода неприязненно относилась к последующей, Первая к «осовеченной» Второй, а обе вместе к Третьей. Хронологически то была моя волна, внутри нее должно было найти свой модус операнди. Но как? Если моя волна воспроизвела в Париже если не сталинизм в миниатюре, как запальчиво говорили молодые и горячие головы, то все ту же советскую союзписательскую иерархию и ту же ситуацию противостояния «космополитов» и «почвенников». Та же борьба журналов и соответствующих им авторских активов, но только с такой вирулентностью, с которой в метрополии сталкиваться мне не приходилось. При всем уважении к бывшему сидельцу-профессору Сорбонны я тоже имел с советской властью разногласия не стилистические, а экзистенциально-сущностные. Но чтобы это стало поводом для вербальной ненависти и угроз схватить оппонента за седую бороду и проволоочь лицом по асфальту? Заклятые парижские враги как будто помирились в перестройку на почве общего ее неприятия. Но Горбачев еще был далеко за горизонтом будущего, и когда я услышал этот брызжащий «хэйт спич» в редакции «Континента», я не поверил своим ушам. Это было так стыдно, что мгновенно изменилась картина реальности. Как было не вспомнить про только что прочитанное у Оруэлла тоталитарное наступление сапогом на лицо. И это борьба с коммунизмом? Я сам пугался крамольности своего видения: именитые интеллигенты эмиграции представляли людьми малоинтеллигентными, даже если не самоутверждались в знакомой им по личному опыту роли лагерных «паханов», отводивших всем, кто ниже, инструментальную роль «быть на подсосе» (выражение, впервые услышанное мной именно в Париже).

Не то, что я был против «паханов», которые вели свою борьбу с Кремлем, не забывая о роскоши насыщенной. В конце концов, не мы, молодые, а они убедили развязать мешки капиталистов Запада — не тех, кто продавал Советам пресловутую ленинскую

веревку в виде, скажем, труб стратегического диаметра, а тем редким, кому небезразлично было дело свободы. Нам, вчера прибывшим из «зрелого социализма», были отвратительны не только деньги, не только власть, но сама идея борьбы не экзистенциальной, а структурированной. Организация, партия — все, что было «частью», а не целым, все, что подразумевало дисциплинарное сокращение наших персональных микровселенных, — все было ненавистно. Поэтому правили бал другие. Те, кого при всех их несомненных заслугах и дарованиях, невозможно было считать интеллигентами. Временами казалось, что вообще вся интеллигенция осталась в Союзе, в редакциях либеральных журналов и издательств, на кухнях квартир у метро «Аэропорт», в Безбожном переулке, где мне обещалась трехкомнатная, или на дачах Перedelкино.

К тому времени мне пришлось кратко побывать самым молодым членом Союза писателей СССР (где средний возраст был примерно, как у меня сейчас). Теперь я стал самым молодым эмигрантом, и мне с моей подозрительностью к самому себе казалось, что восприятие реальности Зарубежья определяется моей незрелой чувствительностью. Но вот появилось мое интервью в «Фигаро», казус невозвращенчества оглашен был миру, и меня стали приглашать в эмигрантские центры для публичных разъяснений. Я напирал на то, что выбрал свободу творчества, которой страна отказа мне предоставить не могла. В газете «Русская мысль» встретил двух-трех сверстников, творческих интеллигентов из Советского Союза и авторов первых книг. «Вот вы говорите, что ваше там поколение без надежды и радости. А мы?» И действительно. Меня мучило чувство вины перед моим оставленным в Союзе «замороженным» поколением. Но по сравнению с Зарубежьем положение молодых там было не так уж беспросветно. Даже ЦК КПСС, и тот принял постановление об улучшении работы с творческой молодежью. А тут конфликт поколений был на грани взрыва. Речь не о том, что моих сверстников не допускали к пресловутым «кормушкам». Они рвались к бумаге. К самовыражению в полной свободе на родном языке. Но средний возраст с его предрассудками стоял заслоном. «Хорошо, что в Париже нет ЧК, а то бы перестукивались в камерах» — это из разговоров молодых интеллигентов эмиграции конца 70-х прошлого столетия.

Оказалось, что я не совсем одинок и даже не столь радикален в отчаянии и пессимизме. За спиной у каждого сверстника был свой вариант выбора свободы, один причудливей другого, но здесь, в Париже, перед каждым возник один и тот же «вызов» — остаться самим собой и при этом выжить в самом низменном смысле слова. Но как? Я обошел издательства Левобережья. Советская книжка моих рассказов никого не возбудила. Как и сборники моих друзей по «замороженному» поколению, которое я, движимый чувством вины, пытался «разморозить» в Париже. Никому мы здесь интересны не были. «Французы рассказов не читают. Пишите, месье, роман!»

Не знаю, как сейчас, но тогда во Франции не было государственных программ поддержки политэмигрантов. Толстовский фонд поддерживал невозвращенцев по всему миру — до принятия решения, остаются ли по месту выбора свободы или перебираются за океан. Александра Толстая, младшая дочь Льва Николаевича и основательница Фонда была еще жива в Америке. Я с отрочества был фанатичным читателем ее отца, пережил, можно сказать, эпифанию у его могилы в Ясной Поляне, а на филфаке был отчасти даже «толстоведом». Один из полумиллиона беженцев, которым Фонд помог на свободе, я с благодарной гордостью чувствовал мистическую символику того, что помогал нам дух величайшего из писателей. Парижским филиалом распоряжалась княгиня Татищева Ирина Дмитриевна — из рода основателя Перми и Екатеринбурга. Невероятной синевы глаза и неизменный пролетарский «голуаз» в граненом черном мундштуке. Прищур ее, однако, вызван был не только дымом: наша маленькая, но интернациональная семья не совсем вписывалась в прокрустово ложе необходимой русскости. Тем не менее, благодаря

аристократам, Фонд платил за нашу первую квартиру на Западе — в квартале Бельвиль. Первые полгода. Потом мы решили остаться в Париже и оказались без спасательного круга.

Среди стратегий выживания одна казалась мне наиболее чистой — физический труд чернорабочего. По-черному, разумеется: разрешения на работу еще не было. Этим я уже занимался в первый свой приезд во Францию, ремонтировал квартиры в Версале и мыл небоскребы на Дефанс за Сеной. Но возобновить эту карьеру мне не удалось. Хозяин шарашки, коммунистический «попутчик», прочитал интервью в «Фигаро» и отказал мне как «правой сволочи». Чем глубоко обидел. В Союзе я привык считать себя «левым». Возможно, надо было идти в «Либерасьон», но я хотел, во-первых, максимальной огласки, а во-вторых — однозначной чистоты разрыва. Кроме того, политический директор «Фигаро» Робер Ляконтр был московским корреспондентом этой газеты и пользовался безусловным доверием Солженицына, авторитет которого тогда был еще непоколебим.

Меня всегда радовал и грел эпизод из истории эмигрантско-советских литературных связей. Молодой сталинский эмиссар зондировал в Париже Нобелевского лауреата насчет возвращения. «Ради чего терпеть такую нужду, когда в Советском Союзе вы бы..?» Бунин остался с Константином Симоновым строг и лаконичен: «Ради свободы, независимости».

Вывод моих собственных первых месяцев французской свободы — самим собой остаться здесь можно только в ситуации непримыкания. Должен сказать, я в этом преуспел. Профессор Сорбонны и его супруга, издательница либерально-демократического журнала, которым я доставил рукопись их московского знакомого, приняли меня за агента-provokatora и оттолкнули советом возвращаться в Союз писателей СССР, где, в отличие от эмиграции, можно, мол, заработать на кусок хлеба с маслом. Всемогущего главного редактора самого известного журнала Третьей волны я обидел отказом от международной пресс-конференции, где главной сенсацией тот собирался выставить не меня («Еще один беглый писатель, кого этим можно удивить»), а мою жену как «испанскую Светлану Аллилуеву». Отклонено было предложение главы Народно-Трудового Союза — то самое, которое впоследствии опрометчиво принял автор «Верного Руслана» — переехать в Германию главредом «Граней» (по слухам, тот же лестный литпост предлагался едва ли не каждому профессионалу пера из Союза). То же самое с французами. «Нет» голлистской партии Движение за Республику (RPR), которая предлагала влиться в ряды своего агитпропа. «Нет» правозащитной организации, глава которой, потомок князя Миттерниха, предложил нам с женой влиться в бисексуальную коммуну, что противоречило нашим намерениям сохраниться на свободе маленькой, но семьей.

Другое дело парижский феминизм, который был тогда на подъеме. Прогрессивная чета, мы посещали собрания клуба «Ведуньи», участвовали в манифестациях против клитероктомии в странах Ближнего Востока и Африки, но милитантами не стали, ограничившись переводом продукции модного тогда *Les éditions des femmes* — «Издательства женщин». Увы, попытка протолкнуть по-русски повесть «Выдвижной ящик» англо-французской писательницы Николь Вард Жув (Nicole Ward Jouve), где фигурировал русский фаллократ Никита, не прошла даже в передовом эмигрантском журнале «Эхо»: «Эмиграция нас не поймет». Только двадцать лет спустя я передал тот текст в своей программе «Экслибрис».

К счастью, не уезжая из Парижа, я обрел здесь свою Америку — бюро Радио Либерти. В этой форме «американского присутствия» отсутствовал культ личности и

разговоры были по существу. Помню первый вопрос легендарного для меня с «оттепельного» отрочества Виктора Некрасова, сразу же пригласившего меня на пиво: «Так вам, *вьюноша*, тоже не нравится коммунизм?»

В бюро на авеню Рапп подкупала не только атмосфера интеллигентности и профессионализма, но и принципиальная установка американской корпорации на объективность, внепартийность и дистанционность от идеологических центров эмиграции. Кроме того, бюро совсем недаром называли филиалом Союза писателей. Здесь можно было самовыражаться. Так произошел мой второй выбор свободы. Британский историк определял интеллигенцию как сонм «агентов связи», взявших на себя миссию трансляции ценностей более высоких цивилизаций. Эфир предоставлял для этого полную свободу — да и не сам ли Тойнби регулярно выступал по Би-би-си? Я решил стать «связистом». Да, «антенны, направленные на Восток». Но во имя будущего. Несмотря на то, что внешнеполитическая атмосфера в мире была предапокалиптической, мне казалось, что «коллективный разум» все же человечество не уничтожит, и сменят Политбюро не «молодые волки», способные на это, а люди здравомыслящие. Таков был исходный пафос обретенного вектора — разумеется, с побочным смыслом поддержания семьи и собственного писательского проекта. Не было чувства, что я выбираю наименьшее зло. Решение казалось оптимальным.

Возможности: осуществленные и нет

Живя во Франции, я любил эту страну так, что, помню свои слова тех лет: «Не будь этого „Гексагона“, жизнь на земле бы потеряла смысл». И я не только жил, но и с увлечением рассказывал открывавшийся мне образ Франции и мира свободы на волнах американского радио, проявлявшего в этом смысле подлинный интернационализм, что было немаловажно для человека, все же неслучайно начинавшего в журнале с хорошим названием «Дружба народов».

Одновременно я писал роман. Эмигрантские издательства отшатнулись, на французское он произвел такое впечатление, что с меня взяли обязательство представлять по роману в год. Сможешь? Да, господи. Я чувствовал в себе сил на десять таких. Вот и хорошо. Будешь французским писателем, пишущим по-русски.

Первый роман вышел в переводе моей жены и, говоря скромно, не остался без внимания прессы франкофонного мира, включая Швейцарию и Канаду. Замечен он был и на площади Дзержинского. В то время французским отделением ВААП (Всесоюзного агентства по охране авторских прав) руководил человек даже не в штатском, а в погонах, причем не много и не мало, а генерал-лейтенантских. Впоследствии товарищ генерал в составе группы из 47 своих коллег был выслан из Франции «за деятельность несовместимую», но до этого приложил немало усилий к подрыву столь успешно начатой мной карьеры. Среди его «активных мероприятий» — запуск слуха в литкруги Парижа о том, что автор романа, которому совершенно напрасно курят фимиам, вовсе не бывший член Союза писателей СССР, а никому не известный растиньяк из Москвы. Мою издательницу, маркизу Ортанз де Шабрие, которая с легким смехом об этом нам рассказывала, генерал-лейтенант, просивший называть его «Николя», не только шармировал, но и убедил в выгодности международной сделки. Притормозить эмигрантского «арривиста», а взамен получить за смешные франки кучу «кирпичей» — современных советских романов. Их нераскупленные тиражи отправились затем в макулатуру, но цель генерала была достигнута: мой следующий роман вышел только

через четыре года после сдачи в издательство. Это при изначальном договоре с маркизой: сдавать по роману в год.

Чем обернулся для меня и нашей семьи период простоя “провайдера”? За семь с половиной лет в Париже было сменено с дюжину адресов и аррондисманов. В промежутках поисков квартир мы, втроем с дочерью, перебивались то в «комнате друзей» в Чайна-Тауне, то в пустующей каморке консьержки в квартале Пасси — именно на этом пороге появился однажды Евгений Винокуров. Это был год прихода к власти Андропова и выездного поощрения для либералов. Советский поэт пожелал своими глазами увидеть судьбу невозвращенца. И его ко мне привели. Я оторвался от пишущей машинки. Хотелось запеть «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой». Но я молчал из эмигрантского этикета, зная, что перед выпуском из страны поэта ознакомили с «Правилами поведения советского гражданина в капиталистических странах», где рекомендовалось держаться как можно дальше от эмигрантов. За пятилетие моей свободы это был первый советский человек, которого я увидел. И он молчал. Наружная шарообразность оправдывала то, что пришло мне в голову: вещь-в-себе. От французской переводчицы, где стоял поэт, я знал, что в Париж он не выходит, сутками читая там-, то есть *тутиздат*. То есть нам было о чем поговорить, тем паче при общих московских знакомых. Но он как окаменел на пороге. Ни вперед, ни назад. Иногда по микродвижениям казалось, что он силится заговорить. Вместо этого, не сводя с меня взгляда, поэт медленно стал откатываться. Дверь закрылась. Больше я его не увидел, но бутылку перно, которую я передал через переводчицу, Винокуров доставил адресату в Москве. 82-й год. До гласности каких-нибудь 4-5 лет... Но между нами и людьми оттуда зияла пропасть недоверия и страха.

Мы хронически не сводили концы с концами, но были бы вполне счастливы (все тот же «Праздник, который всегда с тобой»), когда бы не парижский антиамериканизм. Не будем говорить о примитивных формах и подшучиванием левых друзей о том, что Серж связался со шпионами.

Жорж Бельмон (George Belmont) никогда не был левым. Прожив без полугода сто лет (1909—2008), он охватил целый век не одной литературы, а сразу трех — французской, английской, американской. Он был в дружеских отношениях с Джойсом, по личной просьбе которого первым во Франции в 1939 году откликнулся статьей на роман «Поминки по Финнегану». В лицее Луи Великого, а затем Высшей нормальной школе на рю д’Ульм он близко сошелся практически со всей французской литературой периода «между войнами» (среди других то были Андре Жид, Робер Деснос, Реймон Кено, Жан Полан, Тьерри Молнье, Робер Бразияк), а вдобавок с Симон Вейль и Самюэлем Беккетом (Нобелевский лауреат был его учителем английского в «Нормаль Сюп» и учеником французского, который Бельмон преподавал в Тринити-колледж в Дублине). После войны Бельмон основал иллюстрированный журнал «Жур де Франс». Автор десяти романов и поэт, он был еще и одним из лучших французских переводчиков с английского. Близко дружил с Генри Миллером, Тенниси Уильямсом, Мерлин Монро, Ивлином Во, Грэмом Грином, Энтони Бёрджессом, Эрикой Йонг и многими другими англо-американскими писателями. При всем своем авторитете в издательстве Бельмон, однако, не мог ускорить публикацию моего второго романа, и возможно, по той причине, что позволил вовлечь себя в соблазн ВААПа, совершив даже оплаченную этим «агентством» турпоездку в Советский Союз, где остался доволен отелем «Космос». Сочувствуя моему невозможному положению, он тем не менее огорчился, когда я заговорил с ним о таком выходе из положения, как работа на Би-би-си и совсем упал духом, когда я решил ехать в Мюнхен. «Боюсь, Серж, это будет несовместимо с карьерой французского романиста. Одно дело сотрудничать с американцами дискретно, и совсем другое — штат... Париж тебя не

поймет. Отвернется. И потом... разве это не Си-Ай-Эй?» Тут я не мог не вспомнить, как на подъезде к Гар дю Нор увидел из окна поезда «Москва—Париж» первое во Франции граффити: «Ni KGB, Ni CIA!» Какой радостью тогда омыло сердце: вот она, либерте «по всем азимутам»! Но Бельмон, который до этого рассказывал, как ему понравился в Москве отель «Космос», произнес эту аббревиатуру с таким ужасом и предварительно оглянувшись (а дело было в пивной «У Липпа»), что я ответил дорогому мне французу, который за руку здоровался с автором «Улисса», невежливым вопросом: «По твоему, лучше КГБ?» Нет, так он, конечно, не считал. И все же это нечто освоенное нашей культурой еще с тех времен, когда Арагон «требовал ГПУ для Франции». И вообще русские нам ближе. Культурные люди. Крайняя, но все же часть Европы...

Напомню контекст: уже стреляли в Рейгана и Папу, уже сбит южнокорейский авиалайнер, и все ждут апокалипсиса, который может превентивно развязать бывший шеф ГБ, впавший в паранойю по поводу якобы возможного американского ядерного удара: в Париже интеллектуалы собираются на дебаты, тема и название — «Перед войной»; автор «Зияющих высот» по телевизору клянется защищать французскую столицу с автоматом Калашникова; да у самого Бельмона, бросившего курить после второй мировой, дома в VII арондисмане висит сигарета за стеклом, которое запланировано разбить молоточком, тут же подвешенном на ниточке, чтобы прощально насладиться в полетный час «совет ракет», как пелось в шансоньетке той эпохи.

В общем, на долгожданный «запуск» второго романа я прибыл уже из Мюнхена, где работал аналитиком Исследовательского отдела Радио Свобода/Радио Свободная Европа.

Надо ли говорить, что третий роман по-французски не вышел. Слабым утешением было то, что стала переводиться «аналитика».

Так был потерян взятый мной Париж. Сходная судьба постигла знакомых сверстников и собратьев по перу. Каждый пережил свой успех, но что значит это в «светоче мира», где каждый год выбрасывают на прилавок двести новых романов? И вот романист, призывавший нас к организованной борьбе с коммунизмом, отправился во Франкфурт-на-Майне, в штат организации, смущавшей меня форсированным русофильством. Новеллист — тот вообще публично, через свою газету, отрекся от литературы ради поиска Бога и ушел с посохом на Святую землю, а далее везде — на долгие годы. Можно ли было выдержать дольше, хронически не сводя концы с концами и каждый год меняя арондисманы, квартиры и углы? Нужда, конечно, оселок таланта, но не когда семеро по лавкам, хотя вполне достаточно и одного ребенка — будущего пациента психоаналитика, в кабинете которого ему предстоит избывать многоязычное детство, обреченное отцом на нестабильность. Ну и потом *douze France*: несмотря на активность «новых философов», глубоко перепаханных книгой «Архипелаг ГУЛАГ», страна была отнюдь не в авангарде борьбы с абсолютным, как мы считали, злом, а внутри нее царил Париж с присущим ему «номбрилизмом» — созерцанием собственного пупка. Париж смеялся над своими лимитрофами, но и Западная Германия, и Бельгия, не говоря о совершенно космополитической Голландии мне казались куда более открытыми большому миру. Чешский писатель из Праги сумел обрести жизнь, свободу и счастье, превратив себя в успешного французского романиста — перспектива такой метаморфозы нам не подходила. Наши потребности возникали в сверхдержаве глобальной по своим претензиям; и вот почему из национальной «нежности» Франции, первой, как любовь, страны политубежища, нас увело не столько низменное *follow the money*, сколько зов антикоммунистического интернационализма и желание стать подлинным «гражданином мира» — участвовать в его пересотворении. В конце концов, и мы когда-то читали

«Тезисы о Фейербахе»: *Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Философы лишь различным образом объясняли мир; но настало время изменить его...*

В год прихода Гитлера к власти Томас Манн убыл в эмиграцию из своего любимого Мюнхена. Квартал на правом берегу Изара и через полвека продолжал кричать об отсутствии великого немца и драме его выбора. Штаб-квартира Радио Свобода/Радио Свободная Европа находилась на левом берегу. На краю Английского парка, где канканов никто не танцевал, хотя нудисты поначалу шокировали антиэротичностью.

Корпорация имела не только «антенны, направленные на Восток», но также Исследовательский отдел. В качестве аналитика Русской единицы бывший «паризьен» занимался социокультурными процессами. Динамику им в Советском Союзе задавала борьба за власть в Кремле. Борьба подковерных бульдогов была невидима, но отражалась меняющимся рельефом наружных узоров — в борьбе журналов, в произведениях литературы, театра, кино, в позициях деятелей культуры и фактах культурной жизни. Доктрина соответствия Гермеса Трисмегиста — «То, что внизу, подобно тому, что наверху» — оказалась вечно живой и плодотворной. Статьи переводились на английский и рассылались по подписке. В узких кругах исследовательских центров и разного рода think tank'ов была приобретена неожиданная известность — не скажу, что широкая, но достаточная для приглашения в американский университет, и даже сразу в два. Перспектива академической карьеры в Аризоне или Мичигане отпала, когда новое начальство предложило взять на себя «культуру».

В рамках корпорации эта область не то, что была в загоне, но, несмотря на выдающихся авторов, прибывающих из Советского Союза, передача с названием, текстуально воспроизводившим рубрику журнала «Дружбы народов» («Культура, судьбы, время») делалась формально и была скучноватой — малоудивительно, если знать, что главным культуртрегером на самом важном зарубежном радио был эмигрант предыдущей волны, человек в личном плане скорее симпатичный, хотя впоследствии идентифицированный в качестве советского агента. Обстоятельство, кстати, говорит о том, что КГБ роль «культуры» в рамках корпорации вполне дооценивало — в отличие от американского руководства, которому надо было объяснять, что поэт в России больше, чем поэт, — и почему.

В данном случае, однако, новое начальство ждало реформ — во всяком случае, в предложенной мне сфере. В отличие от моих новых коллег, редакторов и ведущих Русской службы. Американцы называли их «баронами». Обиженные за своего старого и заслуженного товарища, «бароны» вызвали молодого аналитика на совет и предъявили ультиматум: должно сказать начальству «нет». В противном случае будет объявлен бойкот, авторы будут упреждены против сотрудничества, и я сломаю ноги о те самые барьеры, выше которых вознамерился взлететь и паду обратно в свой аналитический полуподвал (программная служба располагалась в бельэтаже).

В таком контексте возник «Поверх барьеров: культурно-политический журнал». Ежедневной культурной программе, существующей, кстати, и по сей день, я решил дать название по второму сборнику Бориса Пастернака. Не только потому что имя известное американцам. Пастернаковский сборник «Поверх барьеров» вышел в канун большевистского переворота; наш «ПБ» стартовал на волнах «Свободы» в 1986 году. То был канун «революции сверху». При участии Раисы Горбачевой был создан Советский фонд культуры, который возглавил академик Лихачев. Интеллигенция страны, та ее часть, которая была за перестройку, понимала грядущие изменения прежде всего как

«культурную революцию», или, как сказал Андрей Вознесенский в своем, можно сказать, историческом интервью Радио Свобода «революцию *культурой*». Эпитет «политический» в двойном названии радиожурнала был данью американскому руководству. За эту уступку мне было позволено запустить еженедельный «сапплемент» — программу «Эклибрис», в рамках которой зазвучала так называемая «новая литература» (Владимир Сорокин, Виктор Пелевин и другие могильщики совреализма). Кроме того, одним из моих условий было возвращение фамилий тем авторам, которые были принуждены к радиотворчеству под псевдонимами на том основании, что реальные их имена могут оттолкнуть русскую аудиторию. Кажется невероятным на американской радиостанции, но в нью-йоркском бюро, где власть удерживали долгожителем волны эмиграции, с подобными соображениями считались еще в середине 80-х. Мюнхенское руководство, к счастью, и здесь осталось на высоте, и эта сомнительная архаика была отменена. Принудительных псевдонимов отныне на радио не было.

Что касается «баронов», то угрозы их не остались простым сотрясением воздуха. Подвластные им авторы от сотрудничества с «новой» культурой уклонились. И это в лучшем случае. Хуже было, когда они с их авторитетом публично обрушивались на новый радиожурнал по подсказанному «баронами» поводу, который нетрудно было найти: мы были теми эмигрантами, которые поддержали либеральные инициативы из Кремля (подробнее об этом в книге Анатолия Гладилина «Меня убил скотина Пелл»), — в отличие от таких величин эмиграции, как Александр Зиновьев, Владимир Максимов, Андрей Синявский — разнополюсных политически, но каким-то образом совпавших в неприятии, как тогда шутили, «ГПУ» — «Гласности, Перестройки, Ускорения».

Однако и мы были силой, причем структурно трансконтинентальной. В Нью-Йорке на «ПБ» трудился «звездный» коллектив (Петр Вайль, Александр Генис, Сергей Довлатов, Борис Парамонов). В Париже — Анатолий Гладилин и Виктор Некрасов. Из Лондона Владимир Матусевич, назначенный новым директором Русской Службы, привез бывшего «бисисшника» Игоря Померанцева с его «пятничным» выпуском. Ответственный редактор этих передач делал две-три свои. В моем мюнхенском выпуске стали звучать голоса представителей творческой интеллигенции Москвы и Ленинграда. Сначала те, кого стали выпускать, точнее командировать на Запад в видах продвижения «нового мышления для страны и мира». Произошло это не сразу.

Даниил Гранин, с которым в 1986 году мне была организована тайная встреча в Бамберге, ФРГ, первым заговорил о своей уверенной надежде на перемены к лучшему, но — *off the record*. В следующем году в Париж привезли большую группу ранее не выездных советских писателей среднего возраста, как либерально-демократической ориентации, так и почвеннической, включая сталинистов. Под эгидой Французской компартии и КГБ во дворце советско-французской дружбы, украшенном бюстом Леонида Ильича Брежнева, состоялась их встреча с «коммунизирующимися» французскими. При полном взаимном незнании сторон смысл имели только закулисные контакты, и тут почвенники оказались смелее либералов, налаживая связи с единомышленниками из Франкфурта-на-Майне. Мне повезло меньше. Сергей Чупринин угостил меня достопамятной советской «Явой», я пожал руку Анатолию Курчаткину, но к доверительному разговору оказался готовым только руководитель советской делегации Сергей Филиппович Бобков, поэт, секретарь Союза писателей по иностранным делам и сын бывшего начальника Пятого управления, а на тот момент первого заместителя председателя КГБ в звании генерала армии. На лестнице парижского Дворца, на вопрос о судьбах перестройки мой тезка красноречиво стучал по лакированному дереву перил. В 1991 году, однако, он выступит в Союзе писателей на стороне реваншистского

Государственного комитета по чрезвычайному положению — в отличие, как это ни странно, от своего отца, сумевшего остаться в стороне от ГКЧП.

Первыми согласились дать интервью нашему радиожурналу — а тем самым «Свободе», которой в Советском Союзе все еще пугали детей, — два Андрея: Вознесенский и Битов. Встреча произвела на меня тяжелое впечатление. Последнее десятилетие советской власти привело этих выдающихся представителей метропольной интеллигенции в состояние, из которого просто физически необходимо было возрождаться. На подрывное радио ни один не пришел, сославшись на недуги. Прозаик давал интервью в зале пивоварни Лёвенсброй, поэт в номере отеля на Изартор — отказавшись при этом от гонорара («Что вы, что вы... Деньги от ЦРУ?..») Даже в случае главных своих трубадуров новое мышление побеждало не сразу.

Но было стремительным и массовым, как аваланш, чему способствовали взаимные «поверхбарьерные» усилия интеллигенции. В 1988 году автор этих заметок принял участие во встрече советских и эмигрантских писателей в Страсбурге. «Поверхбарьерная» акция «Литература и перестройка» под эгидой правительства Миттерана и Совета Европы была проведена с необычайной помпой. Но если в составе советской делегации были Андрей Вознесенский, Андрей Битов, Людмила Петрушевская, Олег Чухонцев, то эмигрантов представляли только трое — Анатолий Гладилин, Дмитрий Сеземан и я. Всемирно известные имена отсутствовали по причине оппозиции «козням Кремля». Писатели с советской стороны были, разумеется, едины как в поддержке горбачевско-яковлевской инициативы, так и в тревоге по поводу ее жизнеспособности. Вознесенский, глава делегации, внезапно прервав визит, улетел в Москву: «Перестройка в опасности!» Ощущение того, что все висит на ниточке и страна может вернуться в еще худшие времена, чем было до Горбачева, не позволяло литераторам из СССР фантазировать о возможной радикализации «процессов, которые пошли». Эмигранты были оптимистичней. На публичных дебатах во Дворце Европы я высказал предположение, что если лавина публикаций ранее запрещенного продолжится, то можно ожидать и появления в СССР набоковской «Лолиты». Советские собратья по перу сочли это эксцессом эмигрантского отлета от реальности: «В Союзе? Никогда!» Вернувшись в Мюнхен, я узнал, что отменено глушение «Свободы». В 1990 году цензура в СССР была объявлена недопустимой, но «Лолиту» издательство «Известия» опубликовало годом раньше.

«Новое мышление» победило как в смысле переступания запретных порогов, так и в осознании того факта, что на «Свободе» действительно свобода слова, которую финансируют не «темные силы», а Конгресс США, то есть изначально — рядовой американский налогоплательщик. В результате штаб-квартира «Свободы» в Мюнхене стала первым и обязательным пунктом массового паломничества на Запад. Дальше, в Европе и Америке, творческую интеллигенцию встречали с распростертыми объятиями на приемах, в издательствах, в университетах, но в посещении «осинового гнезда радиодиверсантов» было нечто ритуальное. Бывали случаи, когда, на последние деньги добравшись до столицы Баварии, интеллигенты ночевали на природе в Английском парке, который советская «контрпропаганда» сделала знаменитым, дожидаясь моего прихода на работу. Визитеров поражал сам факт открытости «банки с пауками». Сколько раз приходилось слышать от гостя, переступавшего запретный порог, восторженное «Свобода бя!..»¹ Радость трансгрессии. Но не только. Не говоря о низменном аспекте, который

¹ Рефрен знаменитой песни «Коктебля», написанной в 1963 году поэтом и сценаристом Владленом Бахновым.

обеспечивал свободное слово в эфире всем, так сказать, валютным достоянием бывшего «Основного Противника», то был акт валоризации и в более глубоком смысле. Чеховский императив по «выдавливанию раба» звучит малопривлекательно, но нет сомнений, что выступление «по Свободе» в тот перестроечный период поднимало самоуважение и укрепляло подорванное советской властью эго творческого интеллигента, подтверждая факт персонального освобождения от страхов, комплексов и предрассудков. Собственный опыт, пережитый в парижском филиале корпорации, позволяет автору говорить об этой инициации с уверенностью.

Так или иначе, но именно в актовом зале «Свободы» читала стихи сотрудникам Белла Ахмадулина, здесь же и перед той же аудиторией профессиональных антисоветчиков Булат Окуджава ритуально бросал свой партбилет, заявив о выходе из партии, в которой состоял с 1941 года, и здесь же с покаянной речью на прекрасном английском выступил генерал КГБ Калугин, явившийся в мюнхенскую штаб-квартиру, что называется, с улицы — а именно с *Oettingenstrasse* — и вызвавший своим появлением немалый шок у американского начальства. Интересно, что прощения за десятилетней давности взрыв на американской корпорации, бывший начальник контрразведки ПГУ, влившийся в авангард борцов за перестройку, просил в окружении сотни лиц, среди которых были его собственные агенты: после отзыва Олега Туманова, по позднейшей оценке генерала, «лучшего» из них, эти несчастные, ибо преданные «Центром» люди, продолжали совмещать «радиоактивность» с нелегальной деятельностью.

В нашем радиожурнале стилистической свободы было больше, однако политической, возможно, меньше, чем в целом на Радио Свобода: диапазон самовыражения в этом смысле был уже, что объяснялось известным ригоризмом подателя сего: в эйфории перестроечной фратернизации и объятий львов с агнцами ответственному редактору мерещилась, видите ли, угроза релятивизма и утраты базовых основ. У нас не звучали голоса сторонников «социалистического выбора» (за отсутствием таких среди интеллигенции), как и голоса нарождающегося в тот период интеллигентского антиамериканизма, антизападничества и великодержавной спеси, не говоря уже о реваншистах тоталитаризма в лице авторов газеты «Завтра», которые, как ни странно, тоже настойчиво, но безуспешно стремились в наш «Поверх барьеров».

Во время перестройки в журнале «Дружба народов» появилась статья заведующего отделом нон-фикш (и некогда моего непосредственного начальника) под дерзким названием «Жизнь в тени КГБ». Еще более оно подошло бы даже не к «Свободе», а к истории нашей «культуры». За ее радиопроцессом советская разведка продолжала наблюдать изо дня в день даже после того, как «их» культуртрегера на руководящем посту сменил автор этих заметок. Каким образом? Дело в том, что начальство, осознавшее важность данной сферы, придало ей все самое лучшее — лучшего диктора, лучшего режиссера и лучшего звукооператора. Вот эта дама родом из парижской белоэмиграции, с которой каждый день на протяжении всех лет перестройки я работал в студии и принимал на радио доверчивых гостей, периодически отъезжала в Вену якобы к подруге. Вероятно, вначале ее отчеты представляли интерес для кураторов, привыкших знать о «подрывных» радиодействиях заранее, на стадии замыслов и планов. Например, о запуске радиофильма по «Невозвращенцу» Александра Кабакова, узкотиражно напечатанной «Искусством кино». О серии эссе Михаила Эпштейна. Или музыкальной постановке по неопубликованному тогда еще роману «Норма» Владимира Сорокина. Наши авторы с огромным резонансом в их слушающих массах, а тогда аудитория исчислялась десятками миллионов, трудились над освобождением коллективного сознания. Наши успехи по устранению барьеров были таковы, что само название радиожурнала (которому, повторяю, все мы обязаны Борису Леонидовичу) было адаптировано журналом «Огонек» в качестве рубрики и

растиражировано множеством других перестроечных СМИ, включая многотиражки, где целиком появлялись транскрипты наших передач. Можно сказать, мы на глазах изживали свою полезность, допиливая сук, на котором сидели. Но в этом ведь и была сверхзадача отцов-основателей Радио Свобода — задать будущему образцу, эталону, матрицу демократического СМИ. Превратить «суррогатный» орган свободы слова, то есть замещающий и неполноценный (поскольку эмигрантский) в полноценное метропольное СМИ. Иными словами, самоаннигиляция вспомогательного ресурса — сравнимого с искусственными легкими — была запрограммирована перед дебютом в эфире в дни смерти Сталина.

Так и произошло. Страна-Гулливер, к которой мы были подключены ежесуточно в течение последних сорока лет, обрела возможность дышать самостоятельно. Те, кто за нами наблюдал, утратили к нам интерес. У них у самих дома почва загоралась под ногами. В один прекрасный день в прекрасной Вене кураторы не явились на очередную встречу с моей беззаветной сотрудницей, что стало крушением всей жизни. В ее самоубийстве, которое воследовало, нельзя было не усмотреть известный символизм и предвещание упразднения мюнхенского Радио Свобода. В известном ленинском определении газеты «не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» странным образом отсутствует главное назначение органа массовой информации. В 1995-м — на 42-м году от роду — основной центр эмигрантской интеллигенции в Мюнхене был закрыт. Сотрудники получили расчет и письмо президента США, который «от имени благодарной нации» сказал спасибо каждому из нас поименно за вклад в развитие демократических сил в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе: «Мир будет чувствовать воздействие вашей верной службы и вашей преданности делу свободы еще долгие годы. Спасибо за ваши выдающиеся усилия».

Почивать на лаврах было рановато. Без Америки в Германии делать было нечего. Возвращаться в Париж? А может быть, в свободную Москву? С началом ельцинского десятилетия я обратился в своих программах к опыту Испании второй половины 70-х. Несмотря на разрыв в пятнадцать лет, опыт испанского перехода от авторитаризма к демократии, мне казалось, представляет интерес для аудитории новой России. По биографическим причинам я был очевидцем того, как с благословения короля-консолидатора из Парижа в Мадрид возвращалась коммунистическая эмиграция. Именно так, как в эти же годы мечтал советский эмигрант, издатель и поборник неофициального искусства Александр Глезер: «На белом коне!» Вчерашние эмигранты включились в политическую жизнь Испании. Мой испанский тесть Игнасио Гальего (Ignacio Gallego) стал депутатом кортесов и в этом качестве принял участие в разработке новой конституции страны, проект которой был написан писателем-сенатором Камило Хосе Села и с поправками коммунистов принят Хуаном Карлосом I. Писатель-эмигрант Хорхе Семпрун, которого некогда Гальего со товарищи исключал из партии за буржуазное перерождение, был призван из Парижа на пост министра культуры Испании. Ничего подобного в новой России не произошло. Ельцинская администрация выбрала игнорировать эмигрантов Третьей волны — какие уж кабинеты власти. Первый «свободный» министр культуры России и номенклатурный либерал Евгений Сидоров (теперь он в ранге чрезвычайного и полномочного посла) демократично посетил меня на «Свободе» в Мюнхене, но, разумеется, не для того, чтоб пригласить под новые знамена, к которым я относился без особого доверия, а чтобы напомнить о знакомстве в ЦДЛ эпохи «глухой поры листопада» середины 70-х.

Короче, автор этих заметок решил следовать за Америкой и был принят на работу в Праге. Поскольку вещание «Свободы» не прекращалось ни на минуту, в эфире не было ни зазоров, ни швов, а «бренд» был сохранен, перемещение корпорации в Чешскую

республику обычно понимается как продолжение жизнедеятельности того же организма в новом месте, более экономном и удобном для администрации. Но в Праге возникло нечто новое формально и по существу.

Одновременно и параллельно этому частному процессу, внутри него и за его пределами происходила трансформация самого феномена интеллигенции. Если верно допущение о том, что сам факт ее бытия есть побочный эффект закрытости общества, то на путях демократизации неизбежным было превращение интеллигента старого типа в интеллектуала или, скорее, «профессионала». Метрополия открылась миру, а эмиграция стала обновляться за счет аполитичной и внеидеологичной миграции «профессионалов», в глобальном масштабе выбирающих оптимальные условия для самореализации и личного благополучия. Запад препятствий не чинил. Россия сокрушила коммунизм и заслужила право войти на равных в свободный мир. Даже в таких стратегически важных сферах, как радиовещание на русском языке кадровый состав стал обновляться за счет высококвалифицированных держателей российских паспортов. Вот одна из карьер, — но сначала *flash-back to the USSR*. В 1968 в Союз приехал один из бывших секретарей Л. Н. Толстого гражданин Франции Виктор Лебрэн (Lebrun) (1882-1978). После выступления в Коммунистической аудитории я, 20-летний толстовед и богоискатель, представился 86-летнему Лебрэну. Тот изъявил желание посетить дом-музей Толстого в Хамовниках, где при входе чучело медведя и цитата, от которой годом раньше у меня перехватило дыхание: «Я отрицаю существующий порядок и прямо заявляю об этом». Мы уже сидели в такси, Лебрэн спереди, я на заднем сиденье, планируя метафизический разговор в полной свободе. Тут рывком отлетает дверца, в машину на ходу вскакивает сокурсник — и горячим шепотом: «Куда везешь старика? О чем с ним говорили?» Таких бесцеремонных ребят в университете называли «Хочу-все-знать» и уходили при них в глухую несознанку под песенным девизом «Ничего не знаю, ничего не вижу, ничего никому не скажу». Затем за граница, Агентство Печати Новости, а в начале 90-х становится в Париже начальником Русской службы государственного Радио Франс-Интер и шесть лет пребывает на руководящем посту. Теперь во Франции этот пенсионер двойной паспортной лояльности борется с лишним весом и голосует за существующий порядок, сообщая о том в ЖЖ — «чтоб знали»).

Не берусь судить, как было на Дойче Велле, но нечто подобное имело место и на Би-би-си. Вот и в Праге, по воле и под эгидой американской администрации, празднующей победу в «холодной войне» и вхождение бывшего противника в семью народов вольных, произошла встреча Запада и Востока, бывших антисоветчиков из Мюнхена и мигрантов, нанятых в бывшем Советском Союзе, ветеранов агонизирующей интеллигенции и новорожденных «профессионалов», успевших побывать борцами советского идеологического фронта. Поколенческий конфликт только усугублял напряженность этой «отдельно взятой» и добровольно-принудительной конвергенции, которую некоторые из ветеранов считали инфильтрацией. Скрытый драматизм ситуации вышел на поверхность с началом 2000-х и победы КГБ в Кремле. Исторические диссиденты, ветераны мюнхенской «Свободы» были объявлены реликтами холодной войны, отошедшей в далекое и всеми осуждаемое прошлое. Таким образом они — мы, то есть, Марио Корти, Лев Ройтман, Тенгиз Гудава — четверка, увольнение которой произвело некоторый международный инфошум в 2004 году — стали диссидентами в квадрате, равно неугодными как стороне, где завершали зачистку «информационного поля», так и противоположной, тогдашний лидер которой, глубоко заглянув в глаза преемника Ельцина, уверился в чистоте его христианско-демократических намерений.

Увольнение все же было обставлено, как почетная отставка, и каждый из нас выбрал свое место в свободном мире. Что касается автора этих заметок, то он вздохнул с

облегчением. Я всегда себя чувствовал, как это называется в американских университетах, *writer-in-residence*. Уехал в Америку и стал писателем просто. Самоиздаю. Иногда не без успеха.

В 2009 нас осталось трое. Писатель и правозащитник, специалист по шумерской культуре Тенгиз Зурабович Гудава, не смирившийся с отстранением от миссии, как понимал он радиослужение, неистово боровшийся против инфильтрации и за восстановление на работе, погиб в Праге при «неустановленных обстоятельствах», которые для удобства всех сторон было сочтено дорожно-транспортной катастрофой.

Моим последним деянием на посту заместителя директора Русской службы по культуре была радиопубликация книги Рубена Давида Гонзалеса Гальего «Белым по черному». Это автобиографическое произведение парализованного с рождения автора, написанное на компьютере указательным пальцем (за бездействием других), в 2003 году получило литературную премию «Букер — Открытая Россия» за лучший роман на русском языке. Никогда не забуду редакционную летучку под руководством Марии Кляйн, когда была доложена новость из Москвы. Я не ожидал, что коллеги бросятся с поздравлениями. Но чтобы полное молчание? Рты на замке оказались даже у ветеранов «Третьей волны» и бывлой «Свободы», а среди них ведь, казалось, и собратья по эмиграции и перу. Формально еще в должности, я уже был глубоко в опале как «реликт и рудимент», так что в делящейся паузе всего громче звучал страх. И думаю, не только перед новоназначенным директором. В Москве уже был арестован Ходорковский, председатель правления организации «Открытая Россия», которая будет признана «нежелательной» на территории РФ. Даже в Москве, на летучках «Дружбы народов» не переживал столь оглушительного молчания. И, конечно, ничего подобного не было ни в Париже, ни в Мюнхене, где царила настоящая свобода и бесстрашие слова. Я на этом здесь задержался потому, что тот биографический момент стал для меня финалом истории если не гибели, то «сдачи» постсоветского интеллигента.

В многочисленных переводах книга Рубена Гальего стала международным феноменом, но главное — ее судьба в России, где потрясенные читатели посылали книгу в Кремль, чтобы там распорядились улучшить положение детей-инвалидов. Как будто бы это не осталось без конкретных положительных последствий. Так или иначе, было привлечено внимание к судьбе человека с ограниченными возможностями: в России ведь их больше, чем все население Чешской республики, — до 15 миллионов.

Конец венчает дело, сказали бы в Древнем Риме.

Свобода

В 2011 году в Вашингтоне, ДиСи, всемирно известный писатель, о котором речь, при посадке в метро был, как сказал он в интервью «Свободе», выброшен из инвалидной коляски, наполовину въехавшей в вагон. Кем? Он не помнит. Силой, оставшейся неопознанной. Упал на рельсы. Следом свалилась коляска весом в 100 кг. Основной удар пришелся по ногам. Чудом оставшись в живых, он отказался от «Букера десятилетия» и три года спустя переехал из США в Израиль.

В подзаголовке этих заметок обозначены «личные риски». Что ж. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, сказал испанский гонщик. С другой стороны, шампанское сорвиголове не гарантировано. В контексте всех удачных и неудачных противодействий со стороны внешних сил, опознанных и нет, нельзя было не вспомнить слова деда Рубена

и моего бывшего испанского тестя, который не сразу стал генеральным секретарем Компартии Народов Испании. Возможно, самый рискованный человек, который встретился мне в жизни, он был незатронут профессиональной паранойей — при том, что значился в именном «черном списке» Франко и десятки раз нелегально посещал Испанию эпохи франкизма. Это по пути на явку с ним был арестован в мадридском трамвае Хулиан Гримау, на поддержание семьи которого я в 6 классе сдавал деньги, выданные дома на школьный завтрак. Тесть засмеялся, когда я спросил, носит ли он оружие или пользуется услугами телохранителя. «Если государство захочет тебя убить, оно тебя убьет. Можешь не сомневаться. Надо просто это знать и делать свое дело», — сказал тогда мой коммунистический родственник, идейно находящийся по ту сторону баррикад.

Я не тыкаю пальцем в государство — то или иное. Ленин в подобных темных случаях учил: спрашивай, *cui prodest*. Прямого выгодополучателя как будто бы здесь нет. И все же несчастный случай с парализованным внуком генсека напоминает о том, что при вмененном нам судьбой цайтгайсте гарантий нет даже в случае тотальной беззащитности. С другой стороны, в большой истории все уже было, включая директиву *Nacht und Nebel*. И все же испанский коммунист был прав. Пусть с обратным знаком, но дело следует делать в том же духе: осмотрительно и безмятежно.

Допрос, который предшествовал статусу политэмигранта во Франции, назывался деликатно — *procès-verbal*. Происходил не без известного пристрастия, однако с перерывом на ведомственный обед. Лощеный месье, который меня угощал, не понимал, почему я отказался от филе-миньон. Но пить я пил. Бургундское у них в конторе было совершенно невероятным. Хотя что я тогда знал? Но так запомнилось. Потом мы вернулись. Французский паренек моих тогдашних лет, который печатал на машинке вербальный наш процесс, выкурил свой голубенький «голуаз» и стал стрелять мой «житан». Когда все сигареты кончились, месье поднялся из-за стола напротив: «Вы свободны». Я опешил: «Как, то есть?» Он развел руками: «Тотально... Либерте, месье! Не беспокойтесь, у вас во Франции получится. Я всю ночь читал вашу книжку, она мне напомнила наш «новый роман». Знаете? Роб-Грийе, Бютор, Саррот... она, кстати, тоже русская». Я был совсем не против того, чтобы стать второй Саррот, хотя, конечно, лучше Роб-Грийе, но беспокоило меня другое. Он сам мне говорил, что ваши саттелиты не щадят своих рефюжье, да и сами ваши ведут себя у нас не очень... Месье только улыбнулся, когда я заикнулся о телохранителе, однако распорядился насчет машины.

Сотрудник гнал через заливаемый дождем Париж на страшной скорости. И сам был страшен, наголо бритая голова в производственных шрамах, подмышками по пистолету. Но проявил неформальную доброту в конце пути. Предложил зонтик. Этот инструмент тогда еще не сделался притчей во языцех. Я отказался, он рванул с места. Одно окно светилось, ждали свои, а еще Толя Гладилин, Володя Марамзин, но я столбом стоял под холодным ливнем, пахнущим Парижем, и повторял одно-единственное слово, которому не мог, просто никак не мог поверить.